

КОНТРОЛЬ НЕ ВКЛЮЧЕН



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Есения Котова

Контроль не включён

«Автор»

2026

Котова Е.

Контроль не включён / Е. Котова — «Автор», 2026

Стью — барабанщик, оператор 911, мужчина, который носит в себе дым, что не выветривается годами. Он потерял родителей в пожаре, научился контролировать хаос протоколами, а потом встретил Эллисон — необычную девушку, которая стала его домом. Но прошлое не отпускает. Оно ждёт в тени, точит ножи, шепчет заклинания. И однажды ночью в лесу загорается деревянный домик.. Это история о контроле, который становится клеткой, о боли, вине и попытках начать все сначала.

© Котова Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Тихий треск	5
Новая переменная	11
Артефакт	18
Расклад	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Есения Котова

Контроль не включён

Тихий треск

Девятилетний Стюарт узнал, что такое ад, не из книжек с картинками. Он узнал его по запаху.

Сначала это был сладковатый, почти уютный запах гари, пробивавшийся сквозь сон, похожий на папину курительную трубку. Потом — резкий и отвратительный. Проснулся он от звука — тихого, настойчивого треска, будто ломались тысячи хрупких веточек. И от света. Оранжевого, пляшущего за щелью под дверью его комнаты. Внутри всё сжалось в ледяной, недвижимый ком. Правила пожарной безопасности ему, сыну инженера и учительницы, вбивали с пелёнок. «Не паниковать. Низко к полу. К выходу». Он скатился с кровати, прижался щекой к прохладному паркету и пополз к двери. Рука, прежде чем толкнуть её, почувствовала тепло дерева. Оно было живым и злым. Коридор был наполнен густым, колышущимся серым одеялом. Свет от огня в гостиной рвал его ключьями, превращая в адские тени.

— Мама? Папа?

Его голос был поглощен трещащим звуком. Он полз, как его учили, к краю лестницы. Гостиная внизу была сердцем светильника. Огненный вихрь пожирал книжные полки, диван. Огонь лизал потолок длинными, похотливыми языками.

И он увидел их.

Силуэты. Два силуэта у большой окна, который должен был быть выходом. Мамин халат, папина поза, широко раскинувшая руки, будто он пытался закрыть собой маму и пламя одновременно. Они стояли, слившись в одно целое на фоне ослепительного желтого света. Стюарт открыл рот, чтобы позвать их. В этот момент большое окно в гостиной, не выдержав жара, лопнуло со звоном. Послышался свежий порыв ночного воздуха — и пламя, будто получив долгожданную приманку, рвануло вверх, к потолку, с коротким, рычащим вздохом. Оно полностью поглотило два силуэта у окна. Они беззвучно растворились в яркости. Время остановилось. Потом Стю схватили под мышки, грубо вырвали из оцепенения. Сосед, разбуженный грохотом, ворвался в дом через чёрный ход. Мальчик, задыхаясь от чистого воздуха на улице смотрел, как их дом, его детство и мир, превращался в факел, освещавший испуганные лица соседей, блёклые мигалки машин. Пожарные нашли потом обгоревший каминный ключ, заклинивший механизм замка на оконной раме. Сбой. Глупая поломка. Просто железка, которая не повернулась. Стюарт сидел на бордюре, завернутый в чужое шерстяное одеяло. Он чувствовал пустоту. Запах гари впитался в его кожу, черные волосы, в самую глубину лёгких. Его он будет помнить всегда. Он будет преследовать его в аромате кофе, в выхлопных газах, в дыме сигарет. Он станет его личным призраком. И в тот момент, глядя на то, как огонь пожирает последние воспоминания о голосах мамы и папы, девятилетний мальчик сделал единственный возможный вывод: огонь — это хаос. А хаос можно победить только абсолютным порядком. Знанием. Контролем. Он не мог спасти их тогда, но он поклялся себе — больше никогда не чувствовать эту беспомощность и не слышать этот тихий треск, за которым приходит конец.

***Тётю Кэтрин Стюарт до той поры знал как запах лаванды и сухих печений, как лёгкий голос из телефонной трубки на праздниках. Она была сестрой его отца, жила в двух часах езды и существовала в измерении визитов «по особым случаям». Теперь само его существование стало тем особым случаем, вокруг которого бесшумно вертелись взрослые с озабоченными лицами. Его перевезли в её дом не сразу. Сначала были дни в больничной палате, пахнувшей антисептиком, который пытался, но не мог перебить въевшийся в него дым. Потом — вре-

менный приют у соседей, где его жалели взглядами, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Там он и услышал шёпот за дверью:

«...сестра отца, Кэтрин, согласилась. Она одинокая, вроде нормальная...»

Слово «согласилась» упало в тишину его сознания, как камень в колодец. Не «забрала», не «захотела». Согласилась. Как на обузу. Как на долг. Их первая встреча в новом статусе состоялась в кабинете социального работника. Кэтрин, стройная женщина с волосами цвета пшеничной соломы, убранными в тугую узел, пахла не лавандой, а строгими духами и свежей хлоркой. Её глаза, того же серо-голубого оттенка, что и у отца, смотрели на него не с материнской нежностью, а с оценкой. Она казалась человеком, готовым к сложной задаче.

«Здравствуй, Стюарт, — сказала она. — Теперь ты будешь жить со мной».

Он молча кивнул. Она не протянула руки, чтобы обнять. И он был благодарен за это. Его кожа отказывалась принимать чужие прикосновения; они казались предательством по отношению к тем, кто больше не сможет его коснуться.

Переезд был бесшумным. У него был один чемодан с вещами, купленными наспех: всё пахло магазином, ничто — домом. Дом тёти Кэтрин был чистым, тихим и до болезненности упорядоченным. Ни одной лишней вещи, ни одной пылинки на полированных поверхностях. Он напоминал музей или очень хороший отель, где уже забыли, для кого предназначены номера. Его комната была... корректной. Нейтральные обои, новая кровать, пустой книжный шкаф, стол у окна. В ней не было ни намёка на ребёнка. Ни игрушки, оставленной в углу, ни случайного пятна на столешнице. Это была не детская, а клетка для временного содержания юного существа, пережившего катастрофу.

«Здесь ты можешь хранить свои вещи, — сказала Кэтрин, стоя на пороге, будто не решаясь войти в пространство, которое теперь приходилось делить. — Правила простые: порядок, тишина после девяти. Говори, если что-то нужно».

Она пыталась. Она готовила питательные ужины по расписанию, спрашивала про школу, покупала ему одежду по размеру. Но её забота была похожа на уход за редким, повреждённым растением по сложной инструкции: полив в два часа, опрыскивание в пять, никаких сквозняков. В ней не было спонтанности, того тёплого, иногда раздражающего хаоса, из которого состоит жизнь семьи. Не было объятий без повода, смеха за столом, случайно забытой на столе чашки. По ночам, лежа в идеально заправленной постели, Стюарт чувствовал себя живым напоминанием о хаосе, который она так тщательно пыталась изгнать из своей жизни. О пожаре, о брате, о несправедливой, неопытной боли. Они жили параллельно, как две аккуратные линии на чистом листе, почти не пересекаясь. Возможно, она так же боялась его боли, как он — её идеального порядка. Боялась сломать что-то в нём или в себе неправильным словом, неловким жестом. Опека тёти Кэтрин стала для Стюарта переходом в новый режим существования. Если раньше его мир был сожжён огнём, то теперь он был заморожен в стерильной тишине. И в в этом идеальном порядке ковалась его будущая броня. Он научился быть тихим, незаметным, не создающим проблем. Он научился скрывать смутение за маской вежливой отстранённости.

Ему было безопасно. Но было одиноко до звона в ушах.

В новой обстановке память Стюарта становилась тираном. Она настигала в выхваченных вспышках — ярких, как обожжённая сетчатка, и таких же болезненных. Мальчик лежал на спине, вглядываясь в идеально гладкий потолок, и вдруг чувствовал под ладонью не скрипучий вафельный плед тёти Кэтрин, а шероховатый свитер отца. Того самого, цвета морской волны. Он запомнил его, потому что в последний вечер, засыпая на диване под чтение книги, он терся щекой именно об эту колючую шерсть. Запах табака, дерева и чего-то острого, мужского. Безопасности. А потом потолок растворялся, и он видел над собой не белый гипсокартон, а узоры из света и тени от абажура в их гостиной. Мамин абажур из плетёного стекла, который отбрасывал на потолок причудливые звёзды, когда горела настольная лампа. Он лежал

на ковре с плюшевым динозавром и гадал, на что похожа та или иная тень. «На дракона», — говорила мама, не отрываясь от проверки тетрадей. Её голос был тихим фоновым гулом, как шум холодильника на кухне. Бывало хуже. Он открывал учебник по математике, и в чётких строчках цифр внезапно проступал почерк отца на полях старой карты. Они вместе прокладывали маршруты для воображаемых экспедиций. «Здесь, Стю, могут быть пираты, — папа водил карандашом по синему целлофану, изображающему океан. — А тут — бездонная впадина. Будь осторожен». Его смех был низким, грудным. Смех, который чувствовался кожей, если прижаться к нему. Теперь кожа Стюарта помнила только холод крахмальных простынь. Но самыми коварными были не зрительные образы, а тактильные призраки. Он протягивал руку, чтобы взять стакан воды с прикроватной тумбочки, и пальцы на миг ощущали не холод стекла, а тепло маминой ладони, которая поправляла ему одеяло. То самое точное, лёгкое прикосновение, которое проверяло, не вспотел ли он. Это воспоминание-ощущение было таким ярким, что он дёргал руку назад, будто обжёгшись. Пустота, которая следовала за таким призрачным касанием, была хуже физической боли. Она обжигала изнутри. В комнате тёти не было ни одной их вещи. Ни одной фотографии. Это была камера, где его воспоминания, лишённые внешних опор, начинали жить своей, извращённой жизнью. Они становились гиперреальными и в то же время хрупкими, как мыльный пузырь. Он боялся, что если слишком часто к ним прикасаться внутренним взором, они лопнут от напряжения и исчезнут навсегда, оставив после себя только факт их отсутствия. Поэтому он начал строить для них внутренний склеп. Упаковывать каждую вспышку, каждое ощущение в отдельный, непроницаемый кейс и ставить на полку в самом дальнем углу сознания. Так было безопаснее. Они не могли ранить его своей внезапностью, а он мог решать, когда ему стоит испытывать эту боль. И по ночам он лежал с открытыми глазами и упорядочивал. Сначала — все папины свитеры по цвету. Потом — все мамины песни, которые она напевала, по алфавиту. Потом — все маршруты их воскресных прогулок на карте памяти. Это был странный способ оставаться в живых. Его способ хоронить. И его первый, никем не замеченный шаг к тому, чтобы самому стать монолитом — холодным, молчаливым и идеально организованным, как новая комната, как эта жизнь, как его новое, обожжённое изнутри сердце.

***На следующее утро Стюарт, проснувшись в комнате ощутил не просто одиночество, а неправильность своего существования здесь. Он был сломанным предметом, поставленным на полку в музей идеального порядка. Надо что-то сказать. Надо что-то сделать. Чтобы проверить — есть ли в этой безупречной схеме место для чего-то живого, пусть даже обугленного. Он нашёл свою тётю на кухне. Она стояла у раковины, беззвучно перетирая уже блестящую чашку. Спина была прямая, движения точны, как у метронома. Солнечный свет падал на её собранные волосы, выявляя каждый волосок в жёстком золотом пучке.

— Тётя Кэтрин, — его голос прозвучал громко в этой тишине, хрипло от неиспользования.

Она замедлила движение и повернула голову, давая понять, что слушает. Её взгляд был спокоен, вопрошающ, готов к деловому разговору.

— Я... я хочу помочь, — выдавил Стюарт. Он не знал, с чего начать. Помощь была единственным нейтральным, приемлемым мостиком, который он смог придумать.

— Тебе не нужно ничего делать, Стюарт. Твоя задача — отдыхать и привыкать, — ответила она ровно, возвращаясь к чашке.

Он сделал шаг вперёд, на территорию безупречного линолеума.

— Можно... можно я помою посуду? Или вытру пыль? — Он искал глазами хоть какую-то соринку, крошку, свидетельство хаоса, который можно было бы устранить. Пол был безупречен.

Кэтрин наконец отложила полотенце и обернулась, скрестив руки на груди. В её позе не было неприязни, лишь осторожность исследователя, столкнувшегося с непонятным явлением.

— Ты можешь содержать в порядке свою комнату. Это будет твоей зоной ответственности.

— Но... — он запнулся, чувствуя, как мостик под ним шатается. — А что... что любил папа? На завтрак?

Вопрос повис в воздухе, резкий и неловкий, как упавший нож. Он вырвался сам, из той самой запертой внутренней комнаты с воспоминаниями. Он хотел не информации о яичнице. Он хотел ключа. Кода к общему прошлому. Намёка на то, что она тоже что-то чувствует. Тётя Кэтрин замерла. На долю секунды что-то дрогнуло в уголках её рта, в напряжении пальцев, впившихся в локти. Её взгляд на миг уплыл куда-то за стену, в другое время.

— Твой отец, — сказала она наконец, и её голос стал чуть тише, но не мягче, — был невыносимым перфекционистом. Он мог двадцать минут жарить яичницу, чтобы получить идеальную текстуру белка без единой подгоревшей кромки. Это сводило всех с ума.

Она говорила о нём как о характере, как о явлении. Не как о брате. Не как о человеке, которого оплакивают. Как об интересном, но сложном факте из прошлого.

— А мама? — прошептал Стюарт, чувствуя, как в горле застревает ком. Он ловил каждое слово, как крохи.

— Марта? — Кэтрин произнесла имя его матери, и её лицо смягчилось на волю секунду, почти неуловимо. — Она была единственной, кто могла вытерпеть его эксперименты. И съесть всё до конца. Говорила, что главное — не вкус, а старание.

Она замолчала, и в её молчании был целый мир вещей, которые она не говорила. О любви. О смехе на той кухне, которая теперь была пеплом. О том, как она, Кэтрин, возможно, заходила в гости и качала головой, глядя на эту семейную идиллию, которая казалась ей такой... беспорядочной.

— Спасибо, — тихо сказал Стюарт. Ему больше нечего было спросить. Мостик, который он попытался построить, упёрся в берег, сложенный из воспоминаний, обработанных и упакованных иначе, чем его собственные. Её воспоминания были архивированы. Его — всё ещё кровоточили.

Кэтрин вздохнула, и в этом вздохе впервые прозвучала не строгость, а усталость.

— Не стоит благодарности, — сказала она, и её голос снова стал деловым. — Если хочешь помочь... полей герань на подоконнике в гостиной. Но аккуратно, не разлей.

Она снова повернулась к раковине, закрывая тему. Стюарт послушно подошёл к подоконнику, к горшку с ярко-алым цветком. Он взял лейку, его руки дрожали. Он поливал этот хрупкий, странный росток связи, который только что попытался прорасти сквозь их общее молчание. Кэтрин стояла у раковины, и её пальцы, вытирающие чашку, двигались с привычной точностью. Но внутри всё сбилось с ритма. Этот вопрос мальчика прозвучал как щелчок выключателя в тёмной комнате, где она так старательно не жила.

«Что любил папа на завтрак?».

Боже правый. Как будто это имеет сейчас какое-то значение. Как будто от этого что-то изменится. Мысли метались, резкие и колющие:

Он хочет ключ. К прошлому, которого больше нет. А я... я тот сторож, у которого ключи проржавели в замках.

Она видела его глаза — алые, точь-в-точь как у Марты. Но в её очах всегда горел этот неутомимый, слегка насмешливый огонёк. А в глазах этого ребёнка... там был пепел. Тот, на который она боялась ступить. Она взяла Стю не из чувства долга. Нет. Из чего-то более чёрного и липкого — из вины. Вины сестры, которая выжила. Которая построила предсказуемую жизнь, пока её брат строил свой шумный, неаккуратный, пышущий жаром маленький мир. И что она могла дать взамен того мира? Правила. Порядок. Чистые полы.

Стюарт спрашивает про Марту. Милую, терпеливую Марту, которая смеялась над Эйдановым перфекционизмом, а потом целовала его в макушку. Как они могли... как они могли

быть такими безрассудно счастливыми? Такая хрупкая конструкция — любовь, смех, ребёнок. И она сгорела за ночь. И он, этот мальчик, выжил. Зачем? Чтобы тащить на себе этот груз? Лучшие бы он...

Она произнесла про яичницу. Сухой, безопасный факт. А внутри всплыло другое: как Эйдан, её младший брат, в их детстве, пытался «усовершенствовать» её кукольный домик, приклеивая обрезки обоев, и всё перемазал клеем. Она тогда кричала на него. А сейчас она готова была бы отдать всё, чтобы снова увидеть эти капли клея на его пальцах. Но об этом говорить нельзя. Это — слабость. Это — трещина в дамбе. А если она треснет, её смоем весь этот накопившийся ужас, вся эта невыплаканная тоска по брату, которого она так и не поняла до конца.

Стью сказал «спасибо». За сухую кроху. Боже, какая же это мука. Он ищет мать во мне. А во мне нет матери. Во мне есть только архив семейных катастроф. Я могу дать ему крышу и витамины. Но не могу дать... того, что было у них. Той тёплой, липкой каши утра, той музыки голосов на кухне. У меня здесь тишина. Тишина — это моё единственное умение.

Он пошёл поливать герань. Аккуратный мальчик. Слишком аккуратный для своих лет. Она смотрела на его согнутую спину и чувствовала не материнский порыв, а острую, почти паническую ответственность инженера за повреждённый механизм. Она боялась, что одно её неверное движение, одно лишнее слово сломает его окончательно. И что тогда? Что тогда скажут её безупречные стены и вымытые до блеска полы?

Я не знаю, как это — быть его тётей. Похоже, я должна быть маяком. Неподвижным, холодным, но указывающим на то, что берег где-то есть. Даже если этот берег — просто продолжение этого одинокого, залитого солнцем дома. Даже если всё, что я могу показать — это как правильно поливать цветы, чтобы не разлить воду. Чтобы не было беспорядка. Чтобы ничего больше не текло, не лилось, не горело.

Она вздохнула, и этот вздох прозвучал в тишине кухни как признание поражения. Её мысли, обычно разложенные по полочкам, снова метались. Вина. Страх. Беспомощность. И под всем этим — тонкая, ледяная жила обиды. Обиды на Эйдана, на Марту, на нелепую судьбу, которая возложила на неё, Кэтрин, всегда державшую дистанцию, эту ношу. Она докрахмалила полотенце и повесила его на точную, отмеренную миллиметры петлю. Порядок был восстановлен. Снаружи. Внутри же после вопроса мальчика остался легкий, неистребимый хаос — щемящее чувство, что все её ключи не подходят, а её безупречный дом может в любой момент наполниться чужими, неуместными детскими вопросами, на которые у неё нет правильных ответов.

***Жизнь выстроилась в хрупкий, молчаливый паттерн, похожий на танец двух призраков, старающихся не задеть друг друга. Для Стюарта эти годы стали временем внутренней кристаллизации. Школа превратилась в поле для оттачивания дисциплины. Он учился безупречно. Конспекты, где каждая буква стояла на своём месте, решённые задачи с безукоризненным ходом мыслей. Контроль над учебным материалом был микрокосмом контроля над хаосом внутри. Он почти не общался со сверстниками. Его тишина и странноватая, взрослая серьёзность отталкивали одноклассников, и он не стремился их к себе приблизить. Друзья были риском. Привязанности — уязвимостью. Единственным выходом стал ритм. Сначала это были просто пальцы, отстукивающие на парте сложные, яростные полиритмы, которые он слышал в голове. Потом школьный учитель музыки, заметивший эту одержимость, предложил кружок. Ударная установка в пыльном спортзале после уроков стала его исповедальней. За грохотом томов и тарелок нельзя было расслышать ни треск огня, ни биение собственного испуганного сердца. В барабанах не было мелодии — только математика силы и времени. Для Кэтрин годы стали упражнением в сдержанной опеке. Она наблюдала. Она видела, как он замыкается, и интерпретировала это не как травму, а как сходство с ней самой. «Он ценит порядок, как и я», — думала она с горьковатым удовлетворением. Она покупала ему качественные вещи,

проверяла домашние задания, которые всегда были безупречны, лечила его редкие простуды с эффективностью медсестры. Они разговаривали о необходимом: «Зачёт по химии сдал?», «Нужны новые кроссовки». Мост из вопроса о яичнице так и остался единственным, никто не осмелился ступить на него снова. Но по ночам, когда в доме стояла абсолютная тишь, Кэтрин иногда подходила к его закрытой двери и слушала. Не плач — она никогда не слышала, чтобы он плакал. Она слышала сдавленное бормотание. Стюю повторял про себя алгоритмы действий при пожаре. «Оценить обстановку. Определить путь эвакуации. Низко к полу. Не открывать горячие двери». Это была боевая инструкция, заученная наизусть, как мантра против бессилия. Она отходила от двери, сжимая ладони, и чувствовала, как каменеет что-то внутри. Она не могла проникнуть в эту вселенную, она лишь охраняла её границы.

Переломным моментом стал выпускной, вернее, его канун. Стюарту было семнадцать. Он пришёл домой поздно — репетировал с первой, полуподпольной группой. В гостиной горел один торшер. Кэтрин сидела в своём кресле просто глядя в пустоту. На журнальном столике лежала старая, потрёпанная карта в пластиковой обложке — та самая, с маршрутами «пиратских экспедиций». Её нашла адвокат среди немногих уцелевших вещей, хранившихся на складе. Они молча смотрели на карту. Потом Кэтрин, не глядя на него, сказала ровным голосом:

— Он хотел стать лётчиком. Твой папа. Или капитаном. Что-то, где нужны карты. Наш отец был против. Говорил — несерьёзно.

Она коснулась пальцем синего целлофана «океана».

— Вот здесь, на полях, он написал «здесь водятся драконы». Папа рассердился, сказал, что портит вещь.

Стюарт замер. Это была живая деталь, соринка из того самого мира.

— Он тоже так делал, — тихо сказал Стюарт. — Со мной. Говорил, что без драконов скучно.

Кэтрин кивнула, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. Признание того, что её брат в самом деле был таким — и с ней, и с ним. Это был ещё один камень, положенный на тот хрупкий мост.

— Что будешь делать после школы? — спросила она, убирая карту, как бы закрывая тему.

— Пойду работать, — ответил он без колебаний. — И учиться. Хочу поступить на курсы экстренных служб. На оператора 911.

В воздухе повисло молчание, густое и тяжёлое. Кэтрин медленно подняла на него взгляд. Она всё поняла. Разом. Весь этот его безупречный порядок, всю эту тишину, всю эту отстранённость. Это была не просто защита, а подготовка. Он не убегал от огня, а шёл к нему навстречу. Чтобы снова встать перед лицом хаоса, но на этот раз — вооружённый знаниями, протоколами, контролем. Он шёл туда, где его сломал хаос, чтобы попытаться победить его.

Она хотела сказать: «Это безумие». Хотела сказать: «Ты не должен». Хотела запретить. Но слова застряли в горле. Что она могла запретить? Ему — его миссию? Его искупление? Его способ не сойти с ума?

Она лишь ещё раз кивнула, резко, по-деловому.

— Хорошо. Это... ответственная работа. Тебе понадобится крепкая нервная система.

И добавила, уже вполоборота, уходя в свою спальню, тихо, так, что он едва расслышал:

— Будь осторожен.

«Будь осторожен»

Впервые прозвучало нечто большее, чем опекунская обязанность. Звучал холодный, треснувший голос родственной тревоги. Она отпускала его в тот самый огонь, который забрал у неё брата. И всё, что она могла сделать — это надеяться, что его безупречный контроль окажется сильнее.

Новая переменная

Первый день на курсах оператора 911 начался с напряжённой, сфокусированной тишиной, как в лаборатории или командном пункте перед битвой. Воздух в учебном классе пахнет пластиком новых кресел, пылью от проектора и слабым, въевшимся запахом старого кофе. Здесь он уже старался думать о себе как о будущем операторе, — занял место в конце ряда. Поза, которую он выработал за годы: спина прямая, руки на столе, взгляд прикован к чистому листу блокнота. Полная готовность к приёму информации. К контролю. Инструктор, бывший пожарный с лицом, изрезанным шрамами от десятилетий бессонных смен, говорил о процедурах. Номера протоколов, алгоритмы действий, юридические нормы. Стью записывал. Его почерк был не просто аккуратным; это был инженерный чертёж. Каждая буква — деталь механизма, который должен работать без сбоев. Он ловил каждое слово, впитывал, раскладывал по ментальным полочкам. Это был язык, который он жаждал выучить. Язык борьбы с хаосом. Потом пришло время симуляций. Учебные записи звонков.

Первый голос из динамиков был женским, истеричным:

«Мой муж... он не дышит! Боже, что мне делать?!»

Стью сжал карандаш в руке так, что побелели костяшки. Внутри что-то ёкнуло — старый, дикий страх. Но он не позволил ему подняться выше диафрагмы. Он заблокировал его. Вместо этого его сознание автоматически выстроило схему. Он мысленно прошёлся по пунктам в своём сознании, как по чек-листу. Пока инструктор разбирал действия диспетчера на записи, Стью думал не о мужчине, который, возможно, умирал, а о точности команд. О том, как голос оператора должен был быть не утешающим, а ведущим. Как металл в интонации важнее тепла. Как нельзя позволить панике абонента заразить тебя, иначе рухнет вся система. Следующий звонок. ДТП. Крик, звук скрежета металла, детский плач на фоне.

Стью закрыл глаза на секунду. Он визуализировал. Он представил место происшествия не как кровавый хаос, а как поле задач: источник угрозы, количество пострадавших, приоритеты эвакуации. В его воображении не было лиц, только контуры, помеченные цветами в зависимости от тяжести состояния. Красный, жёлтый, зелёный. Как в учебнике.

Перерыв. Кто-то из курсантов, парень его возраста, с нервной улыбкой, спросил:

«Ну как, жутковато, да? Особенно этот детский плач».

Стью посмотрел на него тем ровным, безэмоциональным взглядом, который он отточил за годы.

— Это данные, — сказал он просто. — Звуковые данные, которые нужно быстро обработать. Эмоции — помеха обработке.

Парень отшатнулся, будто увидел что-то неприятное. Стью это не задело. Он был прав. Он должен был быть прав. Иначе зачем он здесь?

Вторая половина дня — практика с тренажёром. Настоящая консоль с кнопками, мониторами, гарнитурой. Его первый «звонок» был учебным: сообщение о пожаре в жилом доме.

На экране загорелись вводные: адрес, тип строения, потенциальные риски.

И вдруг в наушниках раздался смоделированный голос:

«Там моя дочка! На втором этаже! Я не могу... дым...»

Слово «дым» прозвучало для него не как слово, а как триггер. В ноздрях, в самой глубине лёгких, вспыхнуло призрачное, но отчётливое ощущение — тот самый сладковато-едкий запах. Его пальцы на миллисекунду замерли над клавишами. Сердце ударило один раз, гулко и глухо, как в пустой комнате.

Хаос.

Он почувствовал его. Живым, горячим, ревущим. Он увидел не строчку адреса на мониторе, а оранжевый свет под дверью. Услышал не симулированный крик, а тихий треск тысячи хрупких ветошек.

Его рука дрогнула.

Но тут же, как автомат, сработала другая система. Та, что он годами выстраивал в себе. Жёсткая, холодная, алгоритмическая. Голос инструктора в голове: *«Не вовлекаться. Сценарий №4-В. Пожар в жилом секторе с сообщением о людях внутри.»*

Он сделал резкий, короткий вдох — не панический, а как пловец перед рывком. И нажал первую кнопку.

— Оператор 911. Ваш адрес подтверждён. Помощь уже в пути. — Его собственный голос прозвучал в его ушах. Он был чужим. Плоским. Металлическим. Идеальным. — Вы находитесь вне здания? Ответьте «да» или «нет».

Он вёл диалог с призраком, созданным программой, отдавал команды, направлял виртуальные экипажи. Каждое его действие было точным, быстрым, безупречным с технической точки зрения. Внутри же шла тихая гражданская война. Одна часть его, мальчик с обожжённой душой, металась в панике, задыхаясь от призрачного дыма. Другая, новый Стью — оператор, солдат порядка — методично, холодно давила её, заставляя замолчать, запирая в самом дальнем отсеке сознания. *«Ты — данные. Я — система. Система должна работать».*

Когда симуляция закончилась, на экране загорелась зелёная надпись: **«СЦЕНАРИЙ ВЫПОЛНЕН. ПОТЕРЬ НЕТ.»**

Инструктор похвалил его за хладнокровие и четкость.

Стью откинулся на спинку кресла. Руки были ледяные, но не дрожали. На лбу — ни капли пота. Внешне — полное самообладание.

Но глубоко внутри, там, куда не добирался свет мониторов, он чувствовал себя так, будто только что в одиночку сдержал натиск целой армии призраков. Он не победил их. Он загнал их обратно. Стью вышел на улицу, в обычный городской вечер. Где-то завывала настоящая сирена — не учебная. Он остановился и прислушался. Раньше этот звук заставлял его внутренне сжиматься. Теперь он анализировал его: тон, удаление, вероятное направление. Данные. Первый день сделал из него киборга, который начал наращивать поверх живой, израненной плоти броню из протоколов и алгоритмов. Он встал на путь, где его величайшей силой должна была стать не эмпатия, а её полное, тотальное отсутствие. Он пришёл сюда, чтобы спасти.

Стью шёл по вечернему тротуару, его сознание всё ещё было застряло в петлях протоколов — он мысленно повторял коды классификации вызовов. Воздух был прохладным, городские огни размывались в его глазах в одно цветное пятно, лишённое смысла. Он был в своём коконе, где внешний мир существовал лишь как набор потенциальных угроз или нейтрального фона. Их голоса врезались в этот кокон, как нож в масло — резко и неожиданно.

— Эй, Стью! Чего как призрак бродишь?

Перед ним материализовались две фигуры: Лекс, гитарист с вечно растрёпанной рыжей чёлкой и хищной ухмылкой, и Зола, русая клавишница, чьи глаза всегда казались немного затуманенными, будто она видела мир сквозь лёгкий дым. Они были из того кружка, где он иногда играл — не группа даже, а сборище, катарсис в чистом виде. После поступления на курсы он сознательно от них отдалился. Они были воплощением того хаоса, который он теперь пытался обуздать.

— Привет, — выдавил Стью, сделав микроскопическую паузу. Его взгляд скользнул по ним, оценивая, как оператор оценивает обстановку: неагрессивны, знакомы, потенциальный источник непредсказуемых действий.

— Слушай, мы тут в «Углу» в субботу играем, — Лекс выдохнул клуб дыма, который Стью инстинктивно анализировал на запах и горючесть. — Барабанщик наш словил творче-

ский кризис и укатил к морю. Или к психоаналитику. Не суть. Ты же свободен? Там всё просто, наш обычный сет.

Внутри всё сжалось в ледяной узел. «Угол» — тесный, душный подвал, где пахло дешёвым пивом и потом. Место, где контроль был невозможен. Где нужно было не просто играть, а выплёскивать. Именно этого он сейчас боялся больше всего. Выплеска. Потери управления.

— Я... занят, — сказал он автоматически, голосом оператора, отклоняющего нерелевантный запрос.

— Занят? — фыркнула Зола, её голос был сиплым, как наждачная бумага. — Ты же на этих своих курсах мозги не выпаришь. Тебе это нужно. Больше, чем нам.

В её словах была опасная, пронзительная правда. Барабаны были его клапаном. Единственным местом, где его внутренний хаос имел легитимное право на существование, потому что был облечён в жёсткую форму ритма. Заглушить этот клапан совсем — значило рисковать взрывом изнутри. Он представлял, как вернётся в тишину комнаты тёти Кэтрин, где единственным звуком будет его собственное предательски учащённое дыхание и назойливый тикающий в голове метроном протоколов. А там, в гараже или в «Углу», был шум. Громкий, всепоглощающий, разрешенный шум, в котором можно было раствориться. Мысль была не эмоциональной, а чисто тактической, как расчёт рисков. Риск №1: выйти из-под контроля на сцене. Риск №2: сорваться в тишине из-за переполнения. Первый казался... управляемее. По крайней мере, там была структура песен.

— Ладно, — произнёс он, и это слово прозвучало не как согласие, а как холодный приговор самому себе. — Во сколько?

— В десять, но к девяти будь там, — Лекс хлопнул его по плечу. Прикосновение было неожиданным и чужим, Стью едва заметно отстранился. — Не подведи, машина. Без тебя там только тихий ужас в стиле инди-фолк.

Они растворились в потоках людей, оставив его одного с этим решением. Он стоял на месте, ощущая странную диссоциацию. Часть его, оператор, уже составляла план: расписание на неделю, дополнительная отработка симуляций вечером в пятницу, строгий режим сна в субботу, чтобы быть собранным. Другая часть, та самая, что была в огне и стучала в барабаны, глухо забила в ожидании, как зверь в клетке, которому пообещали выпуск на арену. Стью повернулся и пошёл дальше, но походка его изменилась. Она стала не такой жёстко выверенной. В ритме шагов, отстукиваемых каблуками по асфальту, проскальзывала едва уловимая неровность, сбивчивость. Как будто метроном внутри дал сбой на долю секунды, поймав ритм из другого, забытого трека. Он согласился не потому, что хотел, а потому, что боялся того, что будет, если он откажется. Боялся тишины, которая станет громче, боялся, что его новая, хрупкая броня из протоколов даст трещину, если не будет этого легализованного выхода пара.

Дома, за ужином, тётя Кэтрин спросила ровным голосом:

— Как курсы?

— Нормально, — ответил он, отрезая кусок безвкусной куриной грудки. — В субботу вечером буду занят. Играю в клубе.

Она подняла на него глаза. Взгляд был оценивающим, как тогда, в первый день. Она кивнула один раз.

— Не задерживайся допоздна. И будь осторожен с... этими людьми.

Она имела в виду не преступников, а эмоции. Непредсказуемость. Ту самую среду, в которой он теперь, по её мнению, должен был функционировать с осторожностью сапёра.

— Я буду осторожен, — сказал Стью. Он и вправду собирался быть осторожным. Осторожным с музыкой, с шумом, с тем зверем внутри, которого собирался ненадолго выпустить. Он собирался надеть на него намордник из ритма и громкости. И надеялся, что это сработает. Остаток недели прошёл в усиленном режиме. Он был идеальным курсантом днём. А по ночам, лёжа в кровати, он не повторял протоколы. Он проигрывал в голове сет будущего выступления.

Отмечал каждый переход, каждую сбивку, каждый момент, где можно было потерять контроль. Он готовился к субботе не как к концерту, а как к сложной, потенциально опасной операции. Где его главным противником был он сам.

***Суббота была прожита по расписанию. Утро — отработка симуляций собственной голове. Обед — безвкусный, но питательный. Послеобеденный сон — строго час. Стию готовился к вечеру, как к полёту в зону турбулентности, проверяя каждую систему на герметичность. «Угол» встретил его знакомой волной тёплого, спёртого воздуха, сдобренного запахом хмеля, пота и старого ковра. Звук гудел, давя на барабанные перепонки — не музыка ещё, а хаотичный гул проверки аппаратуры. Он прошёл к установке, как на рабочее место. Поправил тарелки, проверил натяжение пластиков. Действия механические, отстранённые. Лекс что-то кричал ему, ухмыляясь, но Стию лишь кивнул, уловив суть по движению губ: «Давай, выжги всё!». Он не собирался ничего жечь. Он собирался контролировать горение. Когда свет погас, и на группу упали рвущие синие и красные лучи, он впервые за вечер глубоко вдохнул. И ударил. Первый удар по малому барабану был точным, как выстрел, задав темп. Музыка накрыла его — не волной, а куполом. Громкий, ревущий купол, под которым можно было спрятаться. Его тело включилось в привычный режим: руки и ноги двигались самостоятельно, отточенные тысячи часов практики. Мысли отключились. Остался только ритм — сложный, яростный, математически выверенный хаос. Он смотрел в пространство перед собой, но не видел толпу. Он видел паттерны, схемы, точки соприкосновения палочек с пластиком. Песня была одной из самых агрессивных — «Молот и наковальня». Название иронии он не чувствовал. Он чувствовал только пульсацию. И именно в кульминации, когда гитара Лекса была пронзительным откликом, а Зола вдавливала в клавиши целые кластеры диссонансов, его взгляд, блуждавший по затемнённому залу, наткнулся.

На неё.

Она стояла у колонны, в стороне от толпы, которая колыхалась в судорогах. Синие лучи скользили по её фиолетовым волосам, превращая их в жидкий аметист, в темно-фиолетовое пламя. Лицо — бледное, как фарфор при лунном свете, без единой кровинки. И глаза. Жёлтые. Не карие с оттенком, а именно ястребиные, яркие, почти светящиеся в полумраке. Они были прикованы к нему. Не к группе. К нему. К его рукам, высекающим ярость из барабанов, к его фигуре, сгорбленной над установкой в сконцентрированном усилии. Она была одета во что-то тёмное и кружевное, что сливалось с тенями, обрисовывая лишь хрупкий, призрачный силуэт. Гот. Да. Но не театральный, не карнавальным. В ней была тихая, абсолютная подлинность другого измерения. Она выглядела так, будто пришла не на концерт, а на древний, забытый ритуал, и нашла в его барабанном бое часть ожидавшегося саундтрека. Взгляд её жёлтых глаз был не восхищённым, не восторженным. Он был... узнающим. Как будто она видела не парня в чёрной футболке за ударной установкой, а что-то иное. Видела ту ярость, тот сдавленный крик, который он превращал в ритм. Видела не музыканта, а излучатель боли, заключённый в каркас из металла и пластика.

И в этот момент Стию сбился.

Не сильно. На полтакта. Его левая рука на долю секунды опередила правую, и в чёткую ткань ритма вплелась крошечная, рваная петля. Лекс обернулся, брови взлетели к чёлке. Для толпы это было незаметно. Для него — как гром среди ясного неба. Стию резко опустил взгляд на барабаны. Сердце, которое до этого билось ровно в такт, теперь бешено колотилось где-то в горле. Не от смущения. От паники вторжения. Он чувствовал этот взгляд на себе физически, как прикосновение. Как луч лазера, выжигающий дыру в его броне. Она видела. Видела то, чего никто не должен был видеть — ту живую, необработанную сырьевую боль, которая была топливом для его игры. Он заставил себя поднять голову снова, уже через несколько тактов. Смотреть не на неё, а сквозь неё. Сфокусироваться на отражении в тарелке, на точке на задней стене. Но периферическим зрением он улавливал её неподвижную фигуру. Она не

танцевала, не кивала. Она стояла и наблюдала. Как патологоанатом. Или как ангел, застывший на краю апокалипсиса. Оставшуюся часть песни он отыграл с ледяной, вымученной точностью. Ярость ушла, осталась только механическая безупречность. Тот самый протокол. Когда последний аккорд пробился сквозь грохот тарелок и затих, в ушах остался звон. И сквозь этот звон Стью поднял глаза снова.

Место у колонны было пусто.

Фиолетовое пламя, бледное лицо, жёлтые глаза — исчезли. Будто их и не было. Будто это был галлюцинаторный всплеск от перегрузки, мираж, порождённый стрессом и громом. Но ледяной холодок между лопаток и сбитый на полтакта ритм говорили об обратном. Кто-то увидел его. По-настоящему. Не Стью-курсанта, не Стью-сироту, не Стью-музыканта. А ту оголённую сущность под всеми этими слоями. Глаза Стью, привыкшие к полутьме сцены, метались по залу, сканируя толпу у колонн, тени в нишах, проход к выходу. Поиск цели. Процедура стандартная. Но цель была нестандартной, и её нигде не было. Пустота у той самой колонны зияла, как свежая рана. Её исчезновение было настолько полным, что он на секунду усомнился в собственном восприятии. Может, это все же был сбой? Перегрев? Он машинально собрал палочки, кивнул на что-то кричащему Лексу и сошёл со сцены, пробираясь к выходу сквозь похлопывания по плечу и обрывки фраз, которые не долетали до сознания. Ему нужно было пространство. Чистый воздух. Контролируемую среду.

Улица обдала его холодным, спёртым воздухом — пахло мусорными контейнерами, влажным асфальтом и далёким дымом. Он прислонился к грубой кирпичной стене, вытащил из внутреннего кармана куртки смятую пачку и закурил. Движения были отточенными, ритуальными. Он затянулся, и едкость заполнила лёгкие. Этот вкус когда-то казался ему связью с отцом, взрослостью, какой-то смутной силой. Теперь это был просто горький пепел на языке. Пустышка. Но привычка была сильнее отвращения. Он выпустил струйку дыма, наблюдая, как её разрывает ветер, и снова просканировал переулок. Никого. Только гул музыки из-за двери да далёкий гудок машины. Он ощущал странную, сосущую пустоту. Не потому, что она ушла. А потому, что её взгляд что-то в нём вскрыл, и теперь это «что-то» осталось незащищённым, зияющим на холодном воздухе. И тогда, из сгустка теней чуть дальше по переулку, отделился силуэт и шагнул в полосу тусклого света от уличного фонаря.

Это была она.

При свете она казалась ещё более нереальной. Фиолетовые волосы отливали глубоким сливовым цветом, почти чёрным в тени. Бледность кожи была абсолютной, фарфоровой, без намёка на румянец или дефект. А глаза... в тусклом жёлтом свете фонаря её жёлтые глаза казались не светящимися, а поглощающими свет, как у ночного хищника. Кружева её тёмного платья колыхались от лёгкого ветерка, словно пепел после тихого горения. Она не проявляла никаких эмоций. Просто смотрела на него тем же пронизывающим, узнающим взглядом. И тогда раздался её голос. Негромкий, низковатый, с лёгкой хрипотцой, но не грубый — скорее, шершавый, как старый бархат.

— Прикурить можно?

Фраза была банальной. Уличной. Но в её устах, в этой обстановке, она прозвучала как пароль. Как ритуальная формула, открывающая контакт.

Стью замер с сигаретой в полуподнятой руке. Весь его тренированный мозг, всё его операторское «я» скомандовало: «Неизвестный субъект. Потенциальная угроза. Прервать контакт. Уйти.» Но его ноги словно вросли в асфальт. Потому что другой, более древний и повреждённый инстинкт кричал, что она уже видела его насквозь. Убегать было бессмысленно. Маска уже была сорвана. Он медленно протянул руку с пачкой и зажигалкой. Его движения были лишены обычной для таких ситуаций фамиллярности или любопытства. Это был акт передачи снаряжения, не более. Она сделала два шага вперёд. От неё не пахло духами или пивом. Пахло старыми книгами и сухими травами. Девушка взяла сигарету, ловко прикурила от предложен-

ного огня, и в короткой вспышке зажигалки её черты на миг стали резче, почти скульптурными. Она затаилась, и дым, выходящий из её губ, казалось, растворялся в ночном воздухе, не оставляя следа.

— Спасибо, — сказала она, возвращая пачку. Её жёлтые глаза не отрывались от его лица. — Ты... выбиваешь из себя что-то. Сквозь барабаны. Это интересно.

Она произнесла это как диагноз. Как констатацию факта.

Стью почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Он молча взял пачку, сунул её в карман. Его язык казался ватным.

— Ты... раньше здесь не появлялась, — выдавил он наконец, и его голос прозвучал хрипло, сильнее, чем обычно.

Она чуть склонила голову набок, рассматривая его, как редкий экземпляр.

— Нет. Я ищу определённые... частоты. Сегодня услышала их здесь.

Она говорила загадками, но без игры. Без кокетства. С абсолютной, леденящей серьёзностью. В этот момент из двери клуба вывалилась ватага шумных людей. Лекс, увидев Стю, начал что-то махать рукой. Миг, и его внимание переключилось на фигуру рядом.

— Ого, Стю, а ты не теряешь времени! — прокричал он, но его голос сорвался, когда он разглядел её. Он замолчал, смущённый её странной, неземной статичностью. Она даже не повернула голову в его сторону. Она сделала последнюю затяжку, аккуратно потушила сигарету о стену и снова посмотрела на Стю.

— До следующей частоты, — произнесла она тихо, так, что, возможно, услышал только он.

И, развернувшись, растворилась в тени переулочка, исчезнув так же бесшумно, как и появилась, оставив после себя лишь лёгкий, горьковатый запах полыни и ощущение, будто Стю только что прошёл через невидимый, но очень реальный сканер, который прочитал все его повреждённые файлы.

***Мысли о ней возвращались не как навязчивая мелодия, а как приступ тихого помешательства. Они врываются в самые неловкие моменты: когда он вслушивался в паузу между звонками на тренажёре, когда тётя Кэтрин ровным голосом спрашивала о планах на выходные, когда он лежал в темноте и пытался заснуть. Его разум, отточенный на анализе и категоризации, пытался разобрать её на составляющие, как сложный случай. Но она не поддавалась. Очки. Не модные, а старые, с овальными линзами в тонкой металлической оправе, будто снятые с портрета учёного начала прошлого века. Они не скрывали её жёлтых глаз, а, наоборот, обрамляли их, делая ещё более странными, инопланетными. Как будто она смотрела на мир сквозь двойной барьер — стекло и эту неестественную, хищную радужку. Крест. Массивный, из тусклого, почти чёрного металла, тяжело лежавший в углублении у ключиц. Он не выглядел украшением. Это был артефакт. Оберег? Оружие? Якорь, удерживающий её призрачную легкость на земле? Его грубые очертания диссонировали с кружевами и хрупкостью, но вместе создавали пугающую цельность. Глаза. Это было ядро наваждения. Он перебирал в памяти все оттенки жёлтого — от цвета мёда до яичного желтка. Её глаза не подходили ни под один. Это был цвет старого золота, потускневшего в глубине гробниц. Цвет серы. Цвет предупреждающих знаков на высоковольтных трансформаторах. В них не читалось ни любопытства, ни симпатии. Был интерес патологоанатома к редкому штамму болезни. Она смотрела на него и видела не Стю, а тот разлом в его душе, ту трещину, из которой сочился ритм. Кружева на вырезе. Его сознание, вопреки воле, возвращалось к этому. Не с похотью. С почти клиническим любопытством к контрасту. Бесплотная бледность кожи и сложный, тёмный узор кружева, обрамлявший её, как рама — картину уязвимости и силы одновременно. Это был не соблазн. Это было признание её физичности, её реальности в этом мире. Она была не призраком, а плотью и кровью, скрытой под готическим облачением. И эта плоть почему-то тянула его с силой магнита, который он не мог объяснить протоколами. Запах. Это было самое неуловимое и самое сильное. Не пар-

фюм. Аромат-симфония забвения. Сухие, горькие травы. Полынь? Шалфей? Пыль со старых, никогда не открывавшихся страниц, сладковатая нота ладана и под ним — лёгкий, холодный оттенок камня, как в глубоком подвале или склепе. Этот запах стоял в его ноздрях даже сейчас, перебивая запах сигаретного дыма и больничного антисептика с курсов. Он ассоциировался не с опасностью, а с покойным, ледяным забвением. С тем, чего он так жаждал — заглушить внутренний пожар чем-то абсолютно противоположным: не водой, а вечной мерзлотой. В ней было что-то, что тянуло его. Не свет, а наоборот — глубина. Бездонная, тихая, обещающая не тепло, а окончательное отсутствие боли. Как будто она сама была живым воплощением того прохладного, тёмного места, куда он хотел спрятать свои обожжённые воспоминания. Он ловил себя на том, что в минуты молчания его пальцы не отстукивают протоколы, а бессознательно повторяют тот сбитый ритм, тот самый сбой, который случился, когда их взгляды встретились. Этот сбой был меткой. Физическим доказательством её вторжения в его безупречную систему. Тётя Кэтрин, заметившая его повышенную отстранённость, спросила однажды за ужином:

— Ты всё ещё думаешь о том концерте?

Он посмотрел на неё, и в его глазах, обычно пустых, мелькнула тень чего-то живого — недоумения, почти растерянности.

— Не о концерте, — ответил он честно и тут же пожалел.

Она не стала допытываться. Она просто медленно отрезала кусок рыбы, и в её молчаливом понимании было что-то тяжёлое. Она видела, что в его защитном контуре появилась новая переменная. Непредсказуемая. И это пугало её больше, чем его привычная, замкнутая холодность. Стью понимал иррациональность этого влечения. Это был сбой. Угроза всей его хрупкой архитектуре контроля. Но он также чувствовал, что эта девушка с глазами цвета старого предостережения и запахом забытых склепов, возможно, была единственным существом во всём мире, которое смотрело на него и видело не повреждённый механизм, а именно тот огонь, который этот механизм пытался сдержать. И в этом было странное, пугающее родство. Она не предлагала тушить пламя. Она просто стояла рядом, предлагая свою ледяную тишину, как возможное убежище. И он, против всякого здравого смысла, хотел шагнуть в эту тишину, даже если она вела в бездну.

Артефакт

Учеба превратилась в фоновый шум, в монотонную, важную, но лишённую смысла процедуру. Симуляции звонков проходили с той же безупречной точностью — голос Стью оставался плоским, металлическим, алгоритмы действий отскакивали от зубов, как отчеканенные монеты. Но внутри что-то сместилось. Раньше каждый протокол был священным текстом, молитвой против хаоса. Его сознание, обычно целиком поглощённое отработкой сценариев, теперь было разделено. Одна часть выполняла работу. Другая — ожидала. Он ждал субботы с яростной и болезненной интенсивностью, которую сам не мог объяснить. Ему хотелось подтвердить то, что та девушка стоящая у колонны, действительно существовала, а её жёлтые глаза, тихий голос и запах трав — не мираж. Каждый день был отсчётом. Понедельник — четыре дня. Вторник — три. Он ловил себя на том, что смотрит на календарь на стене класса не для того, чтобы сверить дату инцидента, а чтобы мысленно перечеркнуть ещё один квадратик. Это было нарушением режима. Эмоция, пусть и сдавленная, пульсировала под рёбрами, мешая абсолютной концентрации. Инструктор однажды сделал ему замечание за небольшую задержку в ответе — он на секунду задумался, вспомнив, как её кружева колыхались на ветру. Стью начал приходить на занятия раньше и уходить позже, не из рвения, а чтобы истощить себя. Чтобы к вечеру в его голове не оставалось сил ни на что, кроме пустоты и потребности в сне. Но это не помогало. Как только он закрывал глаза, перед ним возникало её лицо в полосе света от фонаря. Чёткое, как фотография. Он подловил себя на абсурдной, жгучей детали, которая обнажила всю глубину его иррационального состояния. Он не знал её имени. Он сидел с идеально прямым позвоночником, впитывая информацию, и вдруг мысль, холодная и резкая, пронзила мозг:

«Ты сходишь с ума по призраку. По набору визуальных и обонятельных стимулов. У неё нет имени.»

Это было чудовищно и нарушало все его принципы. У диспетчера — имя было первой, ключевой единицей информации, якорем реальности. Без имени — человек был абстракцией, статистикой, голосом в трубке. А он позволил ей завладеть его мыслями с такой силой. Он попытался сбежать в музыку, но даже в грохоте он слышал её фразу: «Ты выбиваешь из себя что-то.» Она уже дала ему определение. Тётя Кэтрин заметила его состояние. Однажды вечером, когда он механически ковырял вилкой еду, она сказала, не глядя на него:

— Ты выглядишь истощённым. Эти... концерты. Может, стоит сделать перерыв?

В её голосе была тревога. Она видела, как его внутренние часы, обычно тикающие с особой точностью, теперь будто спешили, сбивались, гнались за невидимой целью.

— Всё в порядке, — отрезал он, и его тон был резче, чем обычно. — Это... помогает сосредоточиться.

Он солгал. Впервые. Он не мог этого остановить. Ночь перед субботой он почти не спал. Лежал в темноте и конструировал диалоги. Сухие, протокольные: «Как тебя зовут?» — «Меня зовут [—].» Абсурд. Он представлял, как снова увидит её у той же колонны. Или в переулке. Представлял, как спросит. Но каждый раз в его воображении она либо молча исчезала, либо смотрела на него тем взглядом, который, казалось, говорил: «Имя? Разве оно что-то изменит? Разве оно объяснит, почему ты смотришь на меня, как на единственный источник воздуха в комнате, полной дыма?»

Когда настала суббота, внутри него всё дрожало от животного напряжения. Он шёл на выступление как исследователь на пороге открытия, которое может быть как спасением, так и катастрофой. Ждать дольше он не мог. Тиканье этих внутренних, сбитых часов сводило его с ума.

***Стью играл так, будто выбивал искры из кремня. Он метал взгляд в ту сторону, где она стояла в прошлый раз, после каждого перехода, после каждой сбивки. Синие, красные, белые лучи прожекторов выхватывали из толпы то одно лицо, то другое — восторженное, пьяное, отрешённое. Но не то. Не бледное, не обрамлённое фиолетовыми прядями, не с соколиным взглядом. Сначала была ярость ожидания. Он вкладывал в ритм всю накопленную за неделю напряжённую энергию, пытаясь призвать её этим грохотом, как вызывают духов громом бубнов. Потом пришло холодное, методичное отчаяние. Его игра стала технически безупречной, но абсолютно мёртвой. Механической отбивкой времени, которое он тратил впустую. Лекс кричал ему что-то, вращаясь в центре сцены, но Стью видел только движение его губ, не слыша смысла. Звук музыки стал плоским, как картон, лишённым объёма и глубины.

Она не придёт.

Мысль оформилась не как догадка, а как приговор. Чёткий и безэмоциональный, как вывод из неудавшегося эксперимента. Он потратил неделю внутренней бури, сорвал свой безупречный внутренний режим, солгал тёте — всё ради бредовой галлюцинации, порождённой стрессом, недосыпом и проклятым запахом дыма, который навсегда поселился в его лёгких. Он был дураком. Сломанным аппаратом, который начал выдавать ложные данные. Когда последний аккорд растворился в аплодисментах, которые он тоже не слышал, а лишь видел хлопающие ладони, внутри него не было ничего. Ни злости, ни разочарования. Пустота. Та самая, ледяная и звонкая, как в ночь после пожара. Только сейчас она была наполнена не болью, а стыдом. Стыдом перед самим собой за слабость, за эту наивную, детскую надежду на чудо. Он молча сложил палочки, слез со сцены, отмахнулся от похлопываний. Ему нужно было химическое вмешательство. Что-то, что наконец-то заткнёт этот внутренний вой. Стью подошёл к загруженной стойке бара. Бармен, потный и уставший, кивнул ему.

— Виски, — сказал Стью. Голос был хриплым от сдавленного напряжения.

— Какой?

— Самый крепкий. Побольше.

Он никогда не пил так. Алкоголь был ещё одним пунктом контроля — максимум пара кружек пива за вечер. Ему не хотелось терять ясность. Сейчас контроль был не нужен. Его нечем было контролировать. Внутри был вакуум. Он поставил деньги на стойку, взял толстый, тяжёлый стакан с золотистой жидкостью. Она пахла дубом и обещанием небытия. Он поднёс его ко рту и залпом опрокинул половину. Огонь ударил в горло, спустился в желудок и разлился по телу тёплой, обманчивой волной. Он закашлялся, глаза застилало влагой. Это было физически больно. И отлично. Боль была реальной. Осязаемой. Она подтверждала, что он здесь, а не в своих бредовых фантазиях. Допив остальное, парень поставил стакан со стуком. Мир вокруг стал чуть более размытым, звуки — приглушёнными. Напряжение в челюсти, которое он носил в себе как панцирь, слегка ослабло. Он сделал знак бармену — ещё один. Второй стакан он пил медленнее, чувствуя, как границы его тела становятся менее чёткими. Мысль о её глазах ещё пыталась всплыть, но теперь она тонула в этой золотистой, жгучей мути. «Галлюцинация», — повторил он про себя, и теперь в этом слове была не боль, а горькое, пьяное облегчение. Проще думать, что ты сошёл с ума, чем признать, что кто-то мог увидеть тебя насквозь — и просто уйти, не оставив следа. Он облокотился на стойку, наблюдая, как мир плывёт. Его взгляд, остекленевший, блуждал по толпе. И тут, сквозь алкогольный туман, он уловил движение. У выхода. Чьи-то волосы, на которые упал свет... не фиолетовые. Каштановые. Но силуэт... хрупкий, в тёмном. Сердце на миг екнуло старым, глупым рефлексом, прежде чем сознание выдало поправку: «Не она. Просто девушка.» Он отвернулся, чувствуя новую, пьяную волну стыда. Даже теперь, даже отравленный, его мозг искал её в каждом силуэте. Он был болен. Контужен. И единственным лекарством был этот огонь в стакане, который выжигал изнутри всю эту дурь. Третий виски он уже почти не чувствовал на вкус. Было только тепло и тяжёлая, ватная отрешённость. Мысли распадались, не успев оформиться. Шум клуба превра-

тился в однородный гул. Он знал, что ему нужно встать и уйти, пока он ещё может идти. Но тело не слушалось. Оно было тяжёлым, пригвождённым к этому месту у бара, к этому островку пьяного забвения. Тяжёлая, ватная голова Стью уже лежала на скрещённых руках на стойке бара. Он боролся с желанием полностью отключиться, когда над ним наклонилась тень, перекрыв тусклый свет. Сначала он почувствовал запах. Тот самый — полынь и старые книги. Но сейчас к нему примешивался лёгкий, почти сладковатый аромат, который он не мог определить. Его сознание, затуманенное алкоголем, сработало с запозданием. Запах вызвал не воспоминание, а физиологический отклик — сердце рвануло в грудной клетке с такой силой, что он едва не задохнулся. Он медленно, с трудом оторвал голову от стойки. Его взгляд, мутный и несфокусированный, упёрся в глубокий вырез её тёмного платья, обрамлённый все теми же кружевами. Бледная кожа в этом треугольнике казалась почти фосфоресцирующей в полумраке. Мысль пронеслась с пьяной откровенностью: «Господи...». Она была здесь. Плоть, кость, кожа. Не призрак, не галлюцинация и, в конце концов, не плод его фантазий. И только потом, с усилием, будто преодолевая гравитацию, он поднял глаза.

Это была она. И не она одновременно.

Фиолетовые волосы были убраны, открывая тонкую шею и массивный чёрный крест, лежавший в ложбинке между ключицами. Но на её губах, в ту ночь бесстрастных и бледных, теперь была чёрная помада, нанесённая с безупречной, почти графической точностью. И она улыбалась. Не широко, не открыто. Уголки её губ были чуть приподняты, и в этой улыбке была тайна, обещание и лёгкая, едва уловимая насмешка — будто она знала, через какие круги ада он прошёл за эту неделю. Но самое главное были глаза. Все те же жёлтые, хищные. Но в них не было леденящей отстранённости, как у патологоанатома. В них горел живой, заинтересованный огонёк. Она смотрела на него не как на экспонат, а как на... человека. На того, кто мог быть интересен.

— Смотри-ка, кто решил утопить свои барабанные палочки в виски. — протяжно произнесла она. Её голос был всё таким же низким, бархатно-хриплым, но в нём теперь играли новые обертона — лёгкость, почти дружелюбие. — Напугал свой внутренний метроном?

Она шутила.

Стью попытался что-то сказать, но его язык заплетался. Он только смог уставиться на неё, пытаясь совместить в голове два образа — ледяную статую из прошлой субботы и эту улыбающуюся, почти земную девушку с чёрными губами. Алкоголь мешал думать, но даже сквозь его пелену он понимал: эта дружелюбность была очередной маской. Глубоко внутри, за этой улыбкой и открытым взглядом, всё таилась та же самая, непреодолимая загадочность. Она просто решила приоткрыть одну дверцу, чтобы впустить его внутрь. Совсем немного, ненадолго..

— Ты... — он охрип. — Ты пришла.

— Кажется, да, — она склонила голову набок, и крест на её шее покачнулся. — Видела окончание. Ты играл... технично. Но будто тебя там не было. Исчез. Где ты был?

Её вопрос был очередным ударом под дых. Она не просто видела. Она слышала пустоту в его игре. Слышала его разочарование, его отчаяние.

— Думал, ты не придёшь, — пробормотал он, отводя взгляд. Признание вырвалось само, подогретое алкоголем и шоком.

— Вот поэтому я и пришла, — ответила она просто, как будто это было очевидно. — Нельзя оставлять такие интересные частоты в подвешенном состоянии. Меня, кстати, Эллисон зовут.

Имя.

Оно упало в тишину его сознания, разбивая последние остатки алкогольного тумана, как камень — лёд. Эллисон. Красивое, почти обычное имя. Оно не подходило ей. И подходило идеально. Оно делало её реальной. Осязаемой. Оно было той самой недостающей единицей информации, якорем, которого он так отчаянно искал.

— Стю, — выдавил он в ответ, чувствуя, как нелепо звучит это сокращение по сравнению с музыкальным «Эллисон».

— Знаю, — улыбка на её чёрных губах стала чуть шире. — Спросила у твоего гитариста. Тот, с безумными глазами. Он сказал, что ты «машина, которая иногда даёт сбой». Мне нравится это описание.

Она взяла его стакан, ещё наполовину полный, и отхлебнула из него, не моргнув глазом. Простой, почти интимный жест смутил его больше, чем всё остальное.

— Ты... — он снова запнулся, его разум лихорадочно работал, пытаясь осмыслить этот поворот. — Ты здесь одна?

— Да, — ответила она, возвращая стакан. — Иногда нужно сойти со своей башни и спуститься в шум. Чтобы напомнить себе, что кроме тишины и частот, есть ещё... вот это всё. — Она жестом обвела зал: музыку, смех, движение. Она была более открытой. Более дружелюбной. Но с каждой её фразой, с каждым взглядом её жёлтых глаз Стю чувствовал, что эта открытость — лишь новый, более сложный уровень её тайны. Она не стала проще. Она стала ближе, и от этого её загадочность ощущалась острее, почти физически. Эллисон. Теперь у галлюцинации было имя. Стю, пьяный, ошеломлённый и до глубины души потрясённый, понимал одну простую вещь: его личный ад ожидания только что сменился новой, куда более сложной и опасной реальностью. И он, вопреки всякому здравому смыслу, не хотел из неё уходить. Она села на соседний барный стул, и пространство между ними внезапно сжалось, наполнившись её запахом и тихим шелестом ткани. Стю инстинктивно отодвинулся на полдюйма, но этого было недостаточно. Её близость была как статическое электричество — невидимое, но осязаемое на каждом волоске кожи.

— А для меня вина, красного, — сказала она бармену, и её тон был лёгким, будто они старые знакомые. Бармен кивнул, смерив её странный вид взглядом, но промолчал. «Угол» был тем местом, где удивлялись готическим девушкам. Стю сидел, словно вырубленный из льда, зажав в руках свой пустой стакан. Весь его репертуар взаимодействия сводился к протокольным вопросам, односложным ответам тёте Кэтрин и барабанному бою. Болтать? Он не умел «болтать». Его разговорный аппарат давно атрофировался от неиспользования. Она получила бокал тёмно-рубинового вина, покрутила его, наблюдая, как жидкость оставляет «ножки» на стекле.

— Ты часто здесь пропадаешь? — спросила она, сделав маленький глоток.

— Нет, — ответил он сразу, слишком резко. И, почувствовав неловкость от лаконичности, добавил: — Только на выступлениях. Иногда.

— А где тогда? — её сколиные глаза изучали его профиль. — Кроме тех своих курсов спасателей.

Он вздрогнул. Она знала и об этом.

— Дома, — пробормотал он. — Или... репетирую.

— Один? — в её голосе сквозило любопытство, но не жалость.

— В основном.

— Понятно, — она отпила ещё, и чёрная помада оставила на бокале призрачный, соблазнительный отпечаток. — Одиночество — тоже форма контроля, да? Ничего лишнего. Ничего непредсказуемого.

Она снова попала в яблочко. Он лишь кивнул, не в силах отрицать. Его пальцы нервно постукивали по стеклу стакана. Он должен был что-то спросить. Поддержать разговор. Его мозг, обычно такой быстрый в построении логических цепочек, сейчас работал как заржавевший механизм. «Спроси о музыке. О книгах. О чём угодно».

— А ты... — начал он и запнулся. — Где... твоя башня?

Он съёжился внутренне от неуклюжести фразы. Но Эллисон улыбнулась, будто оценила попытку.

— На окраине. Старый дом. Там тихо. И много книг, которые никто не читает. Есть коллекция странных вещей, найденных в нестранных местах.

— Например? — слово сорвалось само, движимое искренним интересом.

— Осколок витража из заброшенной церкви. Череп вороны, идеально чистый. Ключ, который ни к чему не подходит. — Она говорила об этом так же просто, как о погоде. — Иногда тишина там становится слишком громкой. Тогда я иду искать другие звуки. Вроде твоих барабанов.

Он смотрел на неё, и неловкость начала понемногу отступать, уступая место острому, почти болезненному интересу. Её мир был выстроен из таких же непонятных, острых осколков, как и его внутренний ландшафт. Только она, казалось, не пыталась их склеить в нечто цельное и безопасное. Она просто хранила их, как сокровища. Он сделал глоток из нового стакана, который бармен поставил перед ним почти автоматически. Алкоголь теперь не жёг, а лишь согревал, размягчая острые углы его скованности.

— А твои... глаза? — вырвалось у него. И он тут же похолодел от ужаса. «Ты совсем спятил? Ты спрашиваешь человека о цвете его глаз?»

Но Эллисон не смутилась. Она прищурилась, и в её взгляде мелькнула весёлая искорка.

— А почему нет? — парировала она. — Всем достаются синие, карие, зелёные. Алые.. — она обратила свой взор на него. — Мне достался жёлтый. Это цвет... внимания. Предостережения. Подходит, не находишь?

Он не нашёлся что ответить. Она снова выпила вина, и её движения были такими грациозными, такими уверенными рядом с его деревянной неповоротливостью.

— Тебе неловко, — констатировала она, не как упрёк, а как наблюдение.

— Да, — честно признался он. Это было единственное, в чём он был уверен.

— Хорошо, — сказала она. — Это значит, что ты ещё не превратился целиком в ту машину, о которой говорил твой друг. В машинах не бывает неловкости. Только сбои. — Она допила вино и поставила бокал.

— Мне пора. Моя башня ждёт.

Стью почувствовал резкий, почти панический укол — страх, что она снова исчезнет. На неделю. Навсегда.

— Подожди, — сказал он, и его рука сама потянулась, едва не коснувшись её руки. Он отдернул её. — Я... мы ещё...

— Увидимся, — закончила она за него, вставая. Её улыбка стала снова загадочной, но уже без насмешки. С лёгкой, едва уловимой теплотой. — Ты знаешь, где меня искать. В тех же частотах. Она повернулась и пошла к выходу, её тёмное платье растворилось в толпе. Стью сидел, глядя ей вслед, и осознавал, что неловкость никуда не делась. Она лишь трансформировалась. Переплавалась в нечто новое — в тянущее, тревожное, живое чувство, которого он не испытывал годами. Возможно, никогда. Он только что провёл время с девушкой. С Эллисон. Ему было страшно, неловко и... хорошо. Настолько хорошо, что от этого становилось ещё страшнее. Потому что это было началом чего-то, что никак не вписывалось в его протоколы.

***Мысли Эллисон плыли спокойно и ясно, как чернила в стакане с чистой водой. Она наблюдала за Стью — за его скованными движениями, за тем, как его пальцы бессознательно выбивали на столешнице не ритм, а сигнал бедствия — и чувствовала лёгкое, почти интеллектуальное удовольствие. Игра в кошки-мышки. Но она не была кошкой, а он — не настоящей мышью. Он был скорее диким, раненым зверьком, застывшим на краю своей норы, который чуял опасность, но не мог оторвать взгляда от света её фонаря. Ей нравилось это. Не из злобы или желания поиздеваться. А из глубокого, неутолимого интереса. Посмотри на него, — думала она, отпивая вина. — Весь сжатый, как пружина. Каждое слово даётся ему с таким трудом, будто он разминает замёрзшие мускулы речи. Он построил себе крепость. А я... я просто постучалась в ворота. И он, против своей воли, приоткрыл щёлку. Она видела его внут-

ренную борьбу как на ладони. Как его операторский, категоризирующий ум пытался «обработать» её как входящие данные и терпел крах. Её нельзя было классифицировать. Она была аномалией в его упорядоченной вселенной. И это её веселило. Ей нравилось быть аномалией. Он спросил про глаза. Милый. Большинство либо шарахаются, либо делают тупые комплименты про «необычный цвет». А он просто спросил. Прямо. Как будто я — сложный, но интересный текст, который нужно прочитать. Он пытается читать. Чудесно. Её увлечение им не было романтическим в обычном смысле. Оно было коллекционерским. Он был редким экземпляром. Живым воплощением того, как боль и страх могут кристаллизироваться в нечто твёрдое, холодное и сложно устроенное. Как трещина на фасаде может породить самый красивый, причудливый узор льда. Она хотела изучать этот узор. Картографировать его. Понимать, какое давление и при какой температуре он образовался. Когда он пробормотал о неловкости, её сердце — то самое, которое многие считали несуществующим — сделало тихий, тёплый толчок. Честность. В нём не было фальши. В нём была самая большая сила, которую он сам считал слабостью. Он боится, — констатировала она про себя. — Боится меня, боится этих чувств, боится, что его система даст сбой. Но он всё ещё здесь. Сидит. Пытается. Это требует мужества. Гораздо большего, чем бить в барабаны или слушать крики в трубке. Она решила уйти первой. Не потому что надоело. Наоборот — потому что хотелось сохранить этот момент незавершённым. Как захватывающую главу в книге, которую так и тянет дочитать, но лучше растянуть удовольствие. Если остаться сейчас, он может либо окончательно замкнуться, либо, наоборот, сделать что-то неловкое и потом ненавидеть себя за это. А ей не хотелось ни того, ни другого. Ей хотелось, чтобы этот хрупкий, новый росток контакта продолжал расти в тишине, в её отсутствие. «Увидимся», — сказала она. И это была не пустая фраза. Она дала обещание вернуться к интересному объекту. Она знала, что он придёт. На следующее выступление. Или найдёт другой предлог. Его тяга к ней была уже не просто любопытством — это было влечение противоположностей. Его лед — к её таинственной, тихой тьме. Его контроль — к её принятому хаосу осколков и странностей. Выйдя на улицу, она вдохнула холодный воздух и улыбнулась, поправив крест на шее. Игра продолжалась. И она с нетерпением ждала следующего хода. Хода Стью. Ей было интересно, как долго он будет пытаться применить свои протоколы к чему-то столь же иррациональному и прекрасному, как она. И когда наконец поймёт, что единственный правильный протокол здесь — это сдаться. Не ей. А этому странному, тревожному, живому чувству между ними. А там уже будет видно. Она растворилась в ночи, унося с собой образ его растерянных глаз и тихого, сбивающегося дыхания. Эллисон добыла лучший «артефакт» её вечера. И она намеревалась добавить его в свою коллекцию. Не как трофей. Как драгоценность.

***Дом тёти Кэтрин погрузился в свою ночную, безупречную тишину. Но в комнате Стью стоял другой звук — навязчивый, тихий гул собственных мыслей. Они приходили не отрывками, а чёткими, законченными фразами, каждая из которых начиналась с одного и того же слова, как будто его мозг нажал на клавишу «повтор». Эллисон... пахнет забвением. Он лежал на спине, и вместо запаха старой краски и пыли с полок в ноздри вставал тот сложный букет — полынь, пыльные фолианты, холодный камень. Он вдыхал глубже, пытаясь уловить его снова, но ловил лишь стерильный воздух комнаты. Её запах был обещанием. Обещанием места, где боль можно не контролировать, а просто оставить где-то в темноте, как ненужный артефакт. Эллисон... улыбалась чёрными губами. В темноте под веками он снова видел этот графический контраст — мертвенную бледность кожи и идеально очерченные, смоляные губы, приподнятые в углах. Эта улыбка не была простой. Она была шифром. Она одновременно приглашала и предупреждала: «Я здесь, я реальна, но не пытайся разгадать меня до конца». И он хотел именно этого — не разгадать, а принять шифр как данность. Эллисон... сказала, что коллекционирует осколки. Ключ, который ни к чему не подходит. Череп вороны. Его внутренний архивариус, тот, что годами раскладывал по полочкам воспоминания о родителях, с интересом отозвался

на это. Он сам был таким осколком. Выжженным, оплавленным на краях, не подходящим ни к одной цельной картине мира. А она... она, казалось, находила в таких вещах ценность. Не пыталась склеить. Просто ценила факт их существования в их повреждённой форме. Эллисон... не боится тишины. Она сказала, что уходит в шум, когда тишина в её башне становится слишком громкой. Он понял это. Понял до мурашек. Его тишина тоже была оглушительной. Но его выходом был грохот барабанов — попытка заткнуть её. Её выходом было... наблюдение. Искание «частот». Она не глушила тишину. Она дополняла её другими звуками. В этом была разница между бегством и... любопытством. Эллисон... назвала его неловкость хорошим знаком. Это засело глубже всего. Вся его жизнь была построена на устранении неловкости, на достижении бесшовного, автоматического функционирования. А она пришла и заявила, что его сбой, его запинка, его человеческая скованность — это признак жизни. Это переворачивало всё с ног на голову. Значит, всё, что он считал слабостью, в её странной, перевёрнутой вселенной могло быть силой? Он повернулся на бок, уткнувшись лицом в подушку, пытаясь заглушить этот внутренний монолог. Но он продолжался, тихий и настойчивый: Эллисон... может увидеть дым. Он не формулировал это прямо, но чувствовал. Если кто-то и сможет взглянуть на него и не увидеть спасателя, сироту, калеку, а увидеть просто дым — ту пелену горя и страха, в которой он живёт, — так это она. Она не станет его развеивать. Она, возможно, просто сядет рядом и будет смотреть, как он клубится, находя в этом какую-то свою, мрачную красоту. Тётя Кэтрин прошла по коридору, её шаги были лёгкими, почти неслышными. Он замер, притворяясь спящим. Её упорядоченный мир, её чистые линии и правильные углы казались теперь чужими, как декорации из другой пьесы. Его реальность сместилась. Теперь она вращалась вокруг тёмной, тихой точки по имени Эллисон. Вокруг обещания другой, неупорядоченной, но, возможно, более честной жизни. Он открыл глаза и смотрел в потолок. В его голове был только мягкий, настойчивый рефрен, бившийся в висках в такт собственному пульсу: Эллисон... Эллисон... Эллисон... Он не знал, что с этим делать. Не знал, к чему это приведёт. Но впервые за долгие годы он не хотел, чтобы это прекращалось. Было страшно. Все было не по инструкции. Но это было единственное, что казалось по-настоящему живым.

Расклад

Решение в голову Стью пришло утром, когда он сидел за завтраком и наблюдал, как тётя Кэтрин отрезает себе кусок хлеба для тоста. Он посмотрел на её руки, на безупречно сложенную салфетку, на герань на подоконнике, которую он когда-то поливал как знак хрупкого перемирия. И понял: он вырос. Вернее, перерос эту форму существования. Он больше не был травмированным ребёнком, нуждающимся в стерильном карантине. Он стал взрослым мужчиной, у которого скоро появится работа и деньги. И у него появился призрак, который требовал пространства. Эллисон, чьё присутствие в его мыслях делало эти безупречные стены тюрьмой. Это был акт отделения, как отрезание пуповины, которая давно высохла, но всё ещё символически связывала. Он не хотел больше быть «тем сиротой, что живёт у тёти», он хотел стать личностью.

— Я буду искать квартиру, — сказал он ровным голосом. Звук металла о фарфор прозвенел необыкновенно громко в тихой кухне.

Тётя Кэтрин замерла на секунду, затем медленно положила свой нож. Её лицо не выразило ни удивления, ни обиды. Лишь привычную, сосредоточенную оценку.

— У тебя есть на это средства? — спросила она деловым тоном.

— Да. И скоро будет постоянная работа.

— Ясно. — Она помолчала, её взгляд скользнул по его лицу, ища... чего? Признаков незрелости? Истерики? Он был спокоен, как камень. — Это разумное решение. Ты взрослый человек. Я помогу с залогом, если нужно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.